



Н.Л. Трауберг  
ПЕЧАЛЬ ОТЦА БРАУНА

Честертон выходит обычно с какой-нибудь аннотацией. Они меняются. Готовя первое свободное издание, худлитовский трехтомник 1990 года, пришлось писать очень много, восполняя то, что раньше скрывали. Теперь можно обойтись без ликбеза — есть где почитать и о Честертоне, и о христианстве. Однако в многочисленные статьи вошло не все, о чем стоит подумать, если взялся за этого странного писателя. Станный он не потому, что «эксцентричный». Ни эксцентрика, ни склонность к игре уже никого не удивляют. Писатели последних десятилетий намного превзошли в этом Честертон, но строчка из стихотворного письма Мориса Бэринга так же верна, как и в 1907 году:

*Таких, как вы, в Европе больше нет.*

Сменились сотни мод и традиций, но «таких» — по-прежнему нет даже среди прославленных апологетов христианства, писавших позже, чем он. Если сопоставить его хотя бы с К. С. Льюисом, почувствуешь, что Льюис поприличней, посерьезней, можно сказать — повзрослей.

При всей любви к Льюису, Дороти Сэйерс, Чарльзу Уильямсу я вынуждена признать, что Честертон резче и явственней их всех противостоит стереотипам «мира сего». Не случайно его сравнивают и с юродивыми, и с блаженными в евангельском смысле слова. Одно из обычных для него несоответствий «миру» — сочетание свойств, которые считают несовместимыми и даже противоположными. Собственно, весь брауновский цикл стоит на сочетании простодушия с мудростью.

Не случайно первый сборник называется «The Innocence of Father Brown», второй — «The Wisdom of Father Brown», а био-

графия Честертона, написанная Джоном Пирсом, — «Wisdom and Innocence».

Сочетание это исключительно важно. Для Честертона оно было открытием. В 1904 году он встретился у общих знакомым с отцом Джоном О'Коннором. Какие-то молодые люди, снисходительно признавая достоинства веры, сокрушались о том, что священники не знают темных сторон жизни. Позже Честертон пошел гулять со священником и был поражен тем, какие глубины зла тот знает. В первом же рассказе об отце Брауне про это сказано так:

«Вы никогда не думали, что человек, который все время слушает о грехах, должен хоть немного знать мирское зло? Что ж нам, священникам, делать? Приходят, рассказывают».

Название первого сборника переводили по-разному в 1920-х годах. Были и «Простодушие», и «Невинность». Слово *innocence* содержит эти значения, но теперь привилось «Неведение»<sup>1</sup>, может быть — чтобы подчеркнуть линию, противоположную мудрости.

Однако сейчас я хотела поговорить о другом сочетании свойств, не главном для цикла, но тоже очень важном. В церковнославянском языке есть слово «радостоскорбие». Честертону оно бы очень подошло.

Принято считать его оптимистом. Об этом сейчас говорить не буду, он сам неоднократно отвечал на такие обвинения. Но все-таки его, а не кого-нибудь другого называют «Учителем надежды».

Мы уйдем далеко, уточняя различие между бодрым, бесчувственным невниманием к скорби и злу и такой по-христиански странной добродетелью, как надежда. Сейчас подчеркнем одно: жизнерадостность Честертона достаточно заметна. Многих она раздражает. Одни не верят ей, другие — завидуют, третьим она кажется кощунственной, что было бы правдой, если бы он был кем-то вроде сэра Аарона из «Трех орудий смерти». Но вот что, к большой нашей радости, пишет он в этом рассказе:

«— Как? — вскричал Мертон. — А наслаждение жизнью, которое он исповедовал?»

— Это жестокое исповедание, — сказал священник. — Почему бы ему не поплакать, как плакали его предки?»

Сам Честертон знал печаль, а может быть — и плакал. Во всяком случае, он напоминает в одном эссе о том, что и в Писании,

---

<sup>1</sup> Предложила его Раиса Померанцева, редактор сборника 1958 года. — *Примеч. Н. Трауберг.*

и в истории мужчины слез не стыдились. Плакал ли отец Браун, мы не знаем, но бодрячком он точно не был. В отличие от многих наших неофитов, он не путал с радостью то, что Честертон назвал «оскорбительным оптимизмом за чужой счет».

Чтобы рассказать о том, когда и почему он печалился, попробую сперва немного отойти в сторону.

Самый прочный предрассудок религиозных людей связан с тем, что называют «непротивлением злу». Слова эти подсказывают уничтожающий ответ: а что же, по-вашему, христиане злу не противятся? По-видимому, согласиться с тем, что неприятие зла и насильственная борьба с ним — не одно и то же, слишком неудобно. Действительно, тело отдадут на сожжение, а от «добра с кулаками» не откажутся.

Кто не слышал, с каким наслаждением рассказывают о том или ином возмездии? Кроме прямого зла — злорадства, здесь есть и резонная тяга к справедливости, но толкуется она и решается совершенно по-мирски, словно нет ни притчи о плевелах, ни беседы в самарянском селении. Других мест из Евангелия приводить не буду. Каждый не только может прочитать их, но и, несомненно, читал. В тех слоях сознания и подсознания, где живут удобные стереотипы, получается примерно вот что: или тебе безразлично зло, или ты борешься с ним так, словно в 10-й главе от Матфея сказано не «овцы», а «волкодавы». Равнодушия к злу у Честертона и отца Брауна вроде бы нет. Зачем неуклюжий и тихий священник вмешивается во все эти дела, если зло ему безразлично? В его реакции иногда слышишь гнев (не злобу!), но особенно сильна в ней печаль. Редко встретишь такое точное изображение печали, прямо противоположной ее подобиям, от каприза до отчаяния, как в рассказе «Око Аполлона»: «Отец Браун сидел тихо и глядел в пол, словно стыдился чего-то», «морщась как от боли».

Пока он так сидит, сюжет движется, преступник обнаружен, и вдруг на вопрос друга:

«Схватить его?» — «Нет, пусть идет, — сказал отец Браун и вздохнул так глубоко, словно печаль его всколыхнула глубины Вселенной. — Пусть Каин идет, он — Божий».

Очень полезно посмотреть рассказы, замечая, что делает с преступником отец Браун, раскрывший преступление. Герой «Ока» совершенно ужасен, абсолютно уверен в себе, и священник представляет его Богу. Обычно же, когда преступление совершил заблудший человек, на месте которого отец Браун может представить себя, он или отходит в сторону, или беседует с ним, как с почта-

льоном в «Невидимке» или воров в «Алой луне Меру». Беседа с «невидимкой» — длинная, они долго гуляют, вора из «Луны» удастся привести к покаянию как-то уж очень быстро, но здесь мы священника не слышим. Лучше всего, если его слова нам доступны, как проповедь в саду, снизу вверх — Фламбо сидит на дереве («Летучие звезды»).

Иногда наказание предполагается — например, сам Браун пригласил к Фламбо сыщика и полицию. Кстати, здесь очень заметно одно свойство Честертона: там, где логика ему не нужна, он от нее отмахивается. Читатель может угадать сам, отсидел ли Фламбо прежде, чем встретиться с патером Брауном в «Станных шагах» или в тех же «Звездах». Догадаться же, почему он не узнает человека, с которым в «Сапфировом кресте» провел целый день, вообще невозможно.

Кое-кого отец Браун спасает от наказания (например, в «Небесной стреле»), но это не главное. Наказан преступник по земному закону или не наказан, священник стремится к тому, чтобы он переменялся, покаялся. Остальное он с евангельской легкостью предоставляет другому суду. Легкость эта — не удобство, небрежение или легкомыслие. Она настолько же труднее мирской тяжести, как хождение по воде труднее хождения по суше. Однако это именно легкость. Отец Браун не падает под грузом зла. Он приветлив и прост — перечитайте, как один из персонажей «Воскресения» вспоминает, видя его, самые скромные, связанные с детством вещи. Честертонский священник неуклюж (иногда напоминания об этом назойливы), но он никогда не бывает «нервным». В «Поединке доктора Хирша» мы словно подглядываем, как он ест в уличном кафе, и соглашаемся с определением «непритязательный эпикуреец». Знание зла вызывает в нем очень глубокую печаль, но не ведет к болезненной искаленности.

Сам Честертон был не совсем таким. В нем оставалась подростковая воинственность, правда — только в спорах, безукоризненно рыцарских. Он тоже неуклюж, но иначе. В конце концов, отец Браун — маленький, а он — «человек-гора». Несмотря на размеры, Честертон «прыгуч и прыток» (так выразился он в «Маске Мидаса»), причем в пожилые годы эта манера объяснялась не столько радостью жизни, сколько доброжелательством, а может быть — застенчивостью. Во всяком случае, печаль он знал — и чисто христианскую, о мире, и обычную, из-за потерь и болезней. Однако своему любимому герою он дал не прыгучесть, а неловкость, высвечивая его смирение на фоне самодовольного мира.

Кроткие они оба. Честертон вообще был резок три раза в жизни: когда при нем обидели служанку, когда обидели секретаря и только один раз эгоистично, «по-человечески». Вспоминает об этом именно О'Коннор. Они близко дружили уже восемь лет, вышли два брауновских сборника, и вот — вечером, в саду — Честертон обо что-то споткнулся. О'Коннор поддержал его, он сердито вырвался — и упал, даже вывихнул руку. Стоит ли говорить, что он радовался скорому возмездию?

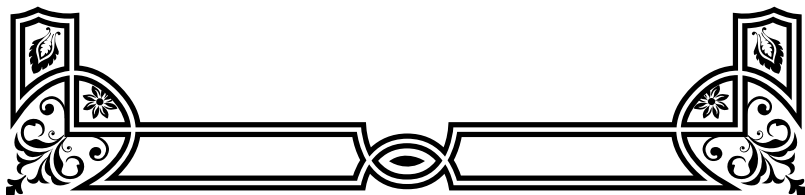
Отец Браун огражден волей автора от таких грехов и соблазнов. Если он повышает голос, значит, Честертон именно этого хотел. Случается это очень редко. В «Небесной стреле» он спорит с более сильными, в «Последнем плакальщике» тоже, но, главное, в его голосе много глубокой печали. Кажется, чистый случай гнева — один, «На скорую руку», но там, как бывало в 1930-е годы, Честертон вводит в его речь почти политический мотив. Священник при этом теряет то, к чему мы привыкли, это как будто не совсем он.

Но тут мы выходим к другим темам, которых, Бог даст, тоже коснемся. Пока же я хотела бы сделать прямо противоположное, а именно — подсказать, что «innocence — wisdom» и «мирная радость — печаль» говорят об одном и том же.





НЕВЕДЕНИЕ  
ОТЦА БРАУНА







## САПФИРОВЫЙ КРЕСТ<sup>1</sup>

Между серебряной лентой утреннего неба и зеленой блестящей лентой моря пароход причалил к берегу Англии и выпустил на сушу темный рой людей. Тот, за кем мы последуем, не выделялся из них — он и не хотел выделяться. Ничто в нем не привлекало внимания; разве что праздничное щегольство костюма не совсем вязалось с деловой озабоченностью взгляда. Легкий серый сюртук, белый жилет и серебристая соломенная шляпа с серо-голубой лентой подчеркивали смуглый цвет его лица и черноту эспаньолки, которой больше бы пристали брыжи елизаветинских времен. Приезжий курил сигару с серьезностью бездельника. Никто бы не подумал, что под серым сюртуком — заряженный револьвер, под белым жилетом — удостоверение сыщика, а под соломенной шляпой — умнейшая голова Европы. Это был сам Валантэн, глава парижского сыска, величайший детектив мира. А приехал он из Брюсселя, чтобы изловить величайшего преступника эпохи.

Фламбо был в Англии. Полиция трех стран наконец выследила его, от Гента до Брюсселя, от Брюсселя до Хук ван Холланда<sup>2</sup>, и решила, что он поедет в Лондон, — туда съехались в те дни католические священники и легче было затеряться в сутолоке приезжих. Валантэн не знал еще, кем он прикинется — мелкой церковной сошкой или секретарем епископа; никто ничего не знал, когда дело касалось Фламбо.

Прошло много лет с тех пор, как этот гений воровства перестал будоражить мир и, как говорили после смерти Роланда, на земле воцарилась тишина<sup>3</sup>. Но в лучшие (то есть в худшие) дни Фламбо был известен не меньше, чем кайзер. Чуть не каждое утро газеты сооб-

---

<sup>1</sup> © Перевод. Н. Трауберг, наследники, 2022

<sup>2</sup> *Хук ван Холланд* — порт в Голландии; соединяется каналом с Роттердамом. — *Здесь и далее примеч. пер.*

<sup>3</sup> *После смерти Роланда на земле воцарилась тишина.* — В старофранцузском эпосе «Песнь о Роланде» после гибели славного графа король Карл зовет своих подданных, но ему никто не отвечает: «ни звука королю в ответ». «Песнь о Роланде», с. XXVI, ст. 2411.

щали, что он избежал расплаты за преступление, совершив новое, еще похлеще. Он был гасконец, очень высокий, сильный и смелый. О его великаньих шутках рассказывали легенды: однажды он поставил на голову следователя, чтобы «прочистить ему мозги»; другой раз пробежал по Рю де Риволи с двумя полицейскими под мышкой. К его чести, он пользовался своей силой только для таких бескровных, хотя и унижающих жертву дел. Он никогда не убивал — он только крал, изобретательно и с размахом. Каждую из его краж можно было счесть новым грехом и сделать темой рассказа. Это он основал в Лондоне знаменитую фирму «Тирольское молоко», у которой не было ни коров, ни доярок, ни бидонов, ни молока, зато были тысячи клиентов; обслуживал он их очень просто: переставлял к их дверям чужие бидоны. Большой частью аферы его были обезоруживающе просты. Говорят, он переокрасил ночью номера домов на целой улице, чтобы заманить кого-то в ловушку. Именно он изобрел портативный почтовый ящик, который вешал в тихих предместьях, надеясь, что кто-нибудь забредет туда и бросит в ящик посылку или деньги. Он был великолепным акробатом; несмотря на свой рост, он прыгал, как кузнечик, и лазал по деревьям не хуже обезьяны. Вот почему, выйдя в погоню за ним, Валантэн прекрасно понимал, что в данном случае найти преступника — еще далеко не все.

Но как его хотя бы найти? Об этом и думал теперь прославленный сыщик.

Фламбо маскировался ловко, но одного он скрыть не мог — своего огромного роста. Если бы меткий взгляд Валантэна остановился на высокой зеленщице, бравом гренадере или даже статной герцогине, он задержал бы их немедленно. Но все, кто попадался ему на пути, походили на переодетого Фламбо не больше, чем кошка — на переодетую жирафу. На пароходе он всех изучил; в поезде же с ним ехали только шестеро: коренастый путеец, направлявшийся в Лондон; три невысоких огородника, севших на третьей станции; миниатюрная вдова из эссекского местечка и совсем низенький священник из эссекской деревни. Дойдя до него, сыщик махнул рукой и чуть не рассмеялся. Маленький священник воплощал самую суть этих скучных мест: глаза его были бесцветны, как Северное море, а при взгляде на его лицо вспоминалось, что жителей Норфолка зовут клецками. Он никак не мог управиться с какими-то пакетами. Конечно, церковный съезд пробудил от сельской спячки немало священников, слепых и беспомощных, как выманенный из земли крот. Валантэн, истый француз, был суровый скептик и не любил попов. Однако он их жалел, а этого пожалел бы всякий. Его боль-

шой старый зонт то и дело падал; он явно не знал, что делать с билетом, и простодушно до глупости объяснял всем и каждому, что должен держать ухо востро, потому что везет «настоящую серебряную вещь с синими камушками». Забавная смесь деревенской бесцветности со святой простотой потешала сыщика всю дорогу; когда же священник с грехом пополам собрал пакеты, вышел и тут же вернулся за зонтиком, Валантэн от души посоветовал ему помолчать о серебре, если он хочет его уберечь. Но с кем бы Валантэн ни говорил, он искал взглядом другого человека — в бедном ли платье, в богатом ли, в женском или мужском, только не ниже шести футов. В знаменитом преступнике было шесть футов четыре дюйма<sup>1</sup>.

Как бы то ни было, вступая на Ливерпул-стрит, он был уверен, что не упустил вора. Он зашел в Скотленд-Ярд, назвал свое имя и договорился о помощи, если она ему понадобится, потом закурил новую сигару и отправился бродить по Лондону. Плутая по улочкам и площадям к северу от станции Виктория, он вдруг остановился. Площадь — небольшая и чистая — поражала внезапной тишиной; есть в Лондоне такие укромные уголки. Строгие дома, окружавшие ее, дышали достатком, но казалось, что в них никто не живет; а в центре — одиноко, словно остров в Тихом океане, — зеленел усаженный кустами газон. С одной стороны дома были выше, словно помост в конце зала, и ровный их ряд, внезапно и очень по-лондонски, разбивала витрина ресторана. Этот ресторан как будто бы забрел сюда из Сохо; все привлекало в нем — и деревья в кадках, и белые в лимонную полоску шторы. Дом был по-лондонски узкий, вход находился очень высоко, и ступеньки поднимались круто, словно пожарная лестница. Валантэн остановился, закурил и долго глядел на полосатые шторы.

Самое странное в чудесах то, что они случаются. Облачка собираются вместе в неповторимый рисунок человеческого глаза. Дерево изгибается вопросительным знаком как раз тогда, когда вы не знаете, как вам быть. И то и другое я видел на днях. Нельсон гибнет в миг победы, а некий Уильямс убивает случайно Уильямсона (похоже на сыноубийство!). Короче говоря, в жизни, как и в сказках, бывают совпадения, но прозаические люди не принимают их в расчет. Как заметил некогда Эдгар По, мудрость должна полагаться на непредвиденное<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> *Шесть футов четыре дюйма* — 1 м 93 см.

<sup>2</sup> *...мудрость должна полагаться на непредвиденное.* — Вероятно, речь идет о наблюдении Э. По из новеллы «Убийство на улице Морг»: «Искусство аналитика проявляется как раз в том, что правилами игры не предусмотрено».